

«Мой адрес не дом, и не улица...»

Моя первая встреча с Москвой состоялась, когда деревья для меня были еще большими. Меня покатали на пароходике по Москве-реке, сводили на Красную площадь и в Большой театр. С тех пор и на всю жизнь сложилось представление: в Москве радость, исполнение желаний и удача.

Потом бывала я в Москве на Чистом переулке, в маленьком деревянном домике с мезонином и яблоневым садом. В раскрытые окна влетал то яблоневый аромат, то тополиный пух.

Зимой в мезонине гудела «синяя московская метель».

Раньше домом на Чистом переулке владела Надежда Филаретовна фон Мекк, покровительница искусств и друг великого русского композитора Чайковского.

Этот дом описал в своем романе «Анна Каренина» Лев Николаевич Толстой, «поселив» в него семейство Облонских.

Толстой жил в Москве совсем недалеко от Чистого переулка, так что бывал, наверное, в гостях у знаменитой меценатки фон Мекк, одной из самых образованных женщин той поры.

«Все смешалось в доме Облонских...», — так начинается «Анна Каренина».

К тому времени, когда мне привелось жить в этом доме, в нем тоже «все смешалось». Он трещал по швам. Но высокий кафельный камин и резные перила скрипучей лестницы еще красовались.

На фоне этой полуистлевшей декорации минувшего столетия шла шумная, суетная жизнь большой коммунальной квартиры.

Под самым потолком на высоте пяти метров сушилось в закопченном углу белье. По наборному паркету «гоняли» на велосипеде. Кто-то чертыхался, попав ногой в прогнивший возле раковины пол; а кто-то восседал прямо посередине залы на горшочке, обвязанном заботливой мамой кружавчиками.

Недалеко от дома располагался плавательный бассейн, от подогретой воды вокруг него зимой клубами валил пар...

Теперь на этом месте высится Храм Христа Спасителя, белоснежный, величественный. Его видно издалека, и он видит всю Москву.

Жила я и на Голутвинском переулке у своей тети (папиной двоюродной сестры Ксении Сергеевны Павловой) в доме на подпорках, в комнате сырой и темной, заставленной старинной мебелью.

Лишь когда открывалась дверь на улицу, комната заполнялась ярким солнечным светом. Несмотря на нелегкие бытовые условия, тетя Ксана умела создать вокруг себя творческую, какую-то особую вдохновенную атмосферу.

Мы ходили на концерты Святослава Рихтера как на причащение. Любили с ней и ее дочерью Ириной бродить по Москве.

Когда в зимние вечера медленно кружа падали тяжелые снежинки, а с кремлевских башен струился розовато-палевый мерцающий свет, как-то вдруг по особому, почти осязаемо начинало ощущаться, что земля круглая. И что все эти постройки, кремлевские соборы и терема — златоглавые «следы эпох» — и есть то главное, что завещали нам далекие наши предки.

— Россия прорастет искусством, — предрекал великий философ и живописец Николай Рерих.

Имена «старых московских зодчих» звучали для нас как музыка.

— Сегодня едем в гости к Василию Баженову! — говорила тетя Ксана ранним воскресным утром, и мы отправлялись в путешествие.

Когда осенью в проливной дождь мы выходили из электрички в Царицыно (бывшая станция «Черная грязь») и по пустому парку шли к сооружениям Баженова, разрушенным еще при Екатерине II, мне начинало казаться, что вдали аллеи виднеется скорбная фигура гениального зодчего.

Были мы и в имении Федора Тютчева, поэта тонкого, горького, мудрого:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!
Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность...

Часто ездили в Архангельское, Кусково, Абрамцево...

Ирина рассказывала о старых особняках и их обитателях всякие увлекательные истории.

Приезжала я к тете Ксане в студенческие годы.

Училась в Ленинградском университете, на историческом факультете, который заканчивала и моя мама.

На специальность «История искусства» конкурс был 12 человек на место, а всего-то мест — менее 10, вот уж, действительно, «штучный товар», как теперь принято говорить о людях.

Когда в кабинет искусства со старинными книгами в стеклянных шкафах и зелеными лампами на столах приходил на лекцию профессор, нередко приветствовать его поднималось всего три-четыре человека.

С глубокой благодарностью вспоминаю всех наших университетских профессоров: Александра Львовича Шапиро, который с каждым из нас, студентов, здоровался за руку. Он занимался военной историей, писал о прославленных военачальниках и флотоводцах, таких как Ушаков, Лазарев, Сенявин.

Семен Бенцианович Окунь, влюбленный в Павловскую эпоху, был, наверное, в то время единственным, кто занимался государственными реформами «Русского Гамлета».

Лекции читал красочно, можно даже сказать, — театрально. Когда речь доходила до дворцового заговора и смерти Павла, он подбегал к окну лекционного зала, как будто к окну Михайловского замка, где император был задушен. Затем вскакивал на стул и застывал, как некогда на окне, за шторой застыл император, услышав шаги приближавшихся заговорщиков.

Лекционный эффект получался незабываемый.

Профессор Михаил Константинович Каргер, лауреат Государственной премии, директор Института археологии, заведовал кафедрой истории искусства и вел курс Древней Руси.

Когда я прочитала свой первый аспирантский доклад на кафедре, он сказал:

«Редкая выдержка и талант. Но помните: талант — тяжелая ноша. Мстит, если не служить ему верно, ежечасно.

Не разматывайте его на пустяки, женщины это умеют. Да и мужчины тоже. Алкоголики, наркоманы — многие от нереализованного, загубленного таланта».

Его напутствие я не забывала.

Особенно трудно было в молодости.

Как-то раз меня пригласили на свадьбу, и мне очень хотелось сделать «настоящую» прическу. Когда подошла к парикмахерской, вспомнила, что завтра сдавать статью в сборник, а она не закончена.

Как сейчас вижу себя на углу Литейного проспекта и улицы Чайковского. Выбор между модной прической и творческим трудом казался непомерно тяжелым. То делаю несколько шагов в сторону парикмахерской, то пячусь к своему дому, где лежит незаконченная статья.

Статью все-таки дописала, как говорили древние: самая большая победа — победа над собой...

* * *

Учителем своим считаю и моего отца, Андрея Валентиновича Помарнацкого, старшего научного сотрудника Отдела истории русской культуры в Эрмитаже, исполнявшего одно время должности ученого секретаря и главного хранителя отдела.

Отношений семейных у нас не получилось, в мои дела он не вникал. Когда я закончила школу и собралась поступать в университет, очень удивился:

— Зачем тебе университет? Поступай лучше в Библиотечный институт, как тетя Лизик (Елизавета Александровна Фаас. После того, как мама разошлась с отцом, он вернулся к Елизавете Александровне).

— Я не хочу, как тетя Лизик, я хочу, как мама — в университет.

— Чтобы поступать в университет надо иметь хорошие отметки, а не такие как у тебя.

— Но у меня золотая медаль!

— Ах да, золотая медаль. А точно золотая? Ну, все равно.

На одной из своих фотографий он напишет: «Наташе от неудавшегося отца».

Когда я все же поступила вопреки его желанию в университет, он нередко помогал мне в подготовке рефератов, но каждый раз говорил:

— Приходи, помогу. Но «бить мордой о стол» буду!

Не знаю, почему у него был такой странный метод в «системе образования и культуры», но «бил» он всегда и притом жестоко.

Я была студентка еще, а он «бил, бил, бил»... Держал в своей комнате часа три и «бил».

После того, как мы выходили из его комнаты, Елизавета Александровна подавала на стол, но мне уже ничего не хотелось. Я уходила и шла пешком долго-долго.

Когда после окончания университета меня рекомендовали в аспирантуру, он снова был против моих «высоких парений»:

— Прерываешь традицию. Ни я, ни Глинка не защищали диссертаций.

У нас были разные жизненные задачи, мы шли разными путями в своей профессии. Но я всегда с гордостью вспоминаю тот день, когда он, прочитав мою рукопись о Пушкине, обратился к Глинке: «Знаешь, Владмих, это самая удивительная женщина, которую я встречал».

Это было признание выбранного мною собственного творческого пути.

За несколько лет до пенсии в 1960 году, проработав 15 лет в Эрмитаже, отец ушел из него.

В книге Михаила Глинки «Хранитель», посвященной его дяде — Владиславу Михайловичу Глинке, — упоминается мой отец и тот факт, что он покинул Эрмитаж. Эрмитаж понес потерю, — считает Михаил Глинка и объясняет это небрежным отношением ленинградских властей: дали трехкомнатную квартиру — дали, а дальше как хочешь, и пусть человеку трудно ездить на работу.

Думаю, что это скорее литературный прием писателя. Трехкомнатная квартира в пятиэтажке, по тем временам считалась хорошими условиями, да и сейчас не всякий научный сотрудник может этим похвастаться.

Ушел же отец из Эрмитажа потому, как мне кажется, что ему не хотелось «преодолевать» — расстояния, транспорт, стояние на остановках, давку. Ехать к девяти часам утра ему было трудно, так как он писал по ночам.

Кто не знает, что такое двухчасовая езда в общественном транспорте сначала на работу, а потом, после трудового дня обратно?

Но оказавшись без Эрмитажа, без творческой среды, без эрмитажной библиотеки, он не смог продолжать исследовательскую работу.

К нему по-прежнему приходили друзья, знакомые, соседи по эрмитажному дому на Алтайской улице. Восхищались эрудицией,

остроумием, а главное — тем его новым литературным стилем, которого он шутя стал придерживаться и в письмах и в живом общении:

Милостивый государь, сочту за честь сообщить Вам...

Не примите за дерзость мое нижайшее прошение, к Вам обращенное...

За сим долгом своим почитаю уведомить Вас... и т. д. и т. д.

Он казался мне королем Лиром, добровольно сложившим корону и превратившимся в королевского шута.

Однако многим нравилось все это. Нравилось, слушая эти лукавые обороты речи, ощущать себя рядом с ним в мире ином, избранном, великосветском.

Мне же кажется, что человек с такими глубокими знаниями как он, с такой давней историей предков не мог, конечно же, довольствоваться подобной словесной мишурой.

В одну из наших последних встреч отец был какой-то потухший. Я забеспокоилась.

— Что случилось?

Он посмотрел на меня устало:

— Вот сидишь передо мной, качаешь ногой, а ведь ты кучка тлена. (Имелось в виду: ты трепыхаешься, а все равно все закончится одним — смертью, тленом).

У меня побежали мурашки.

Когда-то давно он говорил это моей маме, когда она была еще студенткой. Ее тогда это страшно поразило, и она потом много раз это мне пересказывала.

Теперь уже я была далеко не студентка, а он повторял все те же самые слова. Повторял мрачно, почти безнадежно:

— О себе могу сказать словами Петра Великого перед смертью: «Каков есть жалок человек — по мне судите».

Все это оборачивалось настоящей трагедией жизни...

Он умер зимой 1981 года. Отпевали в церкви. Гражданской панихиды в Эрмитаже не было. Много лет спустя сотрудники Эрмитажа, встречая меня, спрашивали:

— Как здоровье Вашего батюшки? Кланяйтесь ему от нас...

После его смерти я опубликовала в журнале «Искусство» рецензию на книгу «Военная галерея Зимнего дворца», которую он на-

писал в соавторстве с Владиславом Михайловичем Глинкой. Писал ее, можно сказать, всю жизнь, начиная с тех первых дней, когда вернулся с фронта.

Герои Отечественной войны с Наполеоном — генералы Ермолов, Багратион, Раевский, а также главнокомандующий, светлейший князь Кутузов — были кумирами моего сурового отца. Он «оживил» их на страницах своей книги.

Мой отклик на эту книгу был не только первой рецензией на нее, но и венком ее авторам, тому вкладу, который внесли они в изучение отечественной культуры.

Через несколько лет после этого появилась газетная заметка «Приют отшельника», в которой рассказывалось об Эрмитаже. Об отце говорилось, что работа с ним — вечный экзамен. Упомянули его и в книге «Эрмитаж. История и современность», вышедшей к эрмитажному юбилею.

В то время, когда отец уже не работал в Эрмитаже, с 1960 по 1981 год, он писал короткие эссе-воспоминания.

Некоторые странички этих воспоминаний, хотя и с сокращениями мне хочется здесь привести.

Папина новелла «Андрюшка» рассказывает о старой полинявшей кукле, которая всегда валялась у него на стеллаже, и которую он называл так же, как его самого звала моя мама.

Мой „Андрюшка“, — написано в папиной рукописи, — это кукла, подаренная мне лет пятнадцать тому назад Владиславом Глинкой, а ему подарила „Андрюшку“ жена поэта Николая Тихонова, с коим Глинка был тогда в добрых отношениях, — Мария Константиновна, урожденная Неслуховская.

Она же „Андрюшку“ и сделала из папье-маше. У него крутой лоб, вьющиеся волосы, небольшие баки, нервные пальцы и прелестная ускользающая улыбка. Одет он в свободную блузу с кружевным жабо и манжетами, шейный платок завязан легким узлом.

У него гибкие шея, руки и ноги, так что его можно класть и сажать в любых позах, и он, повинаясь вам, послушно становится то веселым, развязным, чуть нахальным даже, то печальным, усталым и поникшим, словно хочет сказать: „Мне очень грустно. А вам смешно?“.

Словом, что-то в нем есть от героев Новалиса или Жерар Нерваля, а может быть, от Кавалера Роз, немного от персонажей Сапунова и Сомова.

Но, конечно, мой „Андрюшка“ человечнее их, проще, естественнее. Пообтерся, пообносился, при падении с полки стеллажа у него отломился мизинец на левой руке, но все же и сейчас он не утратил свое очарование, а некоторое опрощение только прибавило ему прелести.

Сейчас я нашел, кажется, ему уподобление — это Флорестан и Эвсебий из „Карнавала“ Шумана, какими они возникают перед нами, когда „Карнавал“ играет Сафроницкий.

Мы с ним друзья. Он мне не прекословит, не дерзит, с ним отдыхаешь душой.

И вот совсем недавно я узнал, что в жизни моего привычного и милого „Андрюшки“ были значительные встречи. Я прочел воспоминания о Блоке поэтессы Надежды Павлович, где упоминается Мария Константиновна, из рук которой вышел „Андрюшка“.

Надежда Павлович приехала в Петроград летом 1920 года. Сначала остановилась в Доме литераторов, но вскоре нашла себе комнату в квартире на Офицерской. Петроград к тому времени опустел, полупустой стояла и эта большая квартира в полуподвальном этаже огромного старого дома.

Туда часто приходил Блок, живший неподалеку. Садился на широкий подоконник. А иногда, чтобы не идти под арку ворот через большой двор и пустую квартиру, влезал в комнату, со смехом, через окно.

Это был последний роман Блока, который шел уже к своему концу и длился недолго. Но тогда, летом двадцатого года поэт, казалось, вновь отдался стихии влюбленности и снова поверил в жизнь.

Вот что пишет поэтесса Надежда Павлович в своих воспоминаниях: „Вскоре после переезда я устроила новоселье. На нем были Блок, сестры Неслуховские, Мария Шкапская и еще несколько человек...“

Татьяна Константиновна Неслуховская, певица, принесла с собой гитару и пела цыганские песни. Александру Александровичу особенно нравилось, как она запевала вполголоса. Он любил самый звук старинной цыганской песни“.

С сестрами Неслуховскими Павлович познакомилась вскоре по приезде в Петроград. „Их дом стал родным для меня“, — признавалась она.

Отец, Константин Францевич, — географ, бывший полковник Генерального штаба. Он всегда необыкновенно сердечно и как-то весело встречал приходившую к ним молодежь.

Константин Францевич был знакомый Ленина, который нелегально приезжая в Петербург, останавливался у него.

Младшая дочь Константина Францевича, Мария Константиновна „с неправильным и прелестным лицом, в локонах, словно сошедшая со старинного дагерротипа, была художницей...“

Она делала стилизованные куклы и художественные макеты сценков из различных исторических эпох.

И кто знает, быть может, Блок, для которого жизнь давно уже оборачивалась то кошмаром, то балаганчиком, примечал этих театральных кукольных человечков.

Может быть, он опознал в моем „Андрюшке“ своего бедного Пьеро, того, что, перегнувшись через рампу, истекал когда-то клюквенным соком перед огорченными девочками и мальчиками.

В тот год в Петрограде много танцевали среди голода, холода и крови. В январе устроили маскарад для работников искусств в одном из особняков на Миллионной улице. Зал убрали еловыми ветвями и гирляндами из бумажных цветов.

Электрические лампочки горели тускло, многие маски были в шинелях или в самодельной обуви на веревочной подошве. Открылся маскарад полонезом.

Пришли среди других Надежда Павлович, Мария Неслуховская, Владимир Пяст, Осип Мандельштам и Александр Блок в темно-синем домино...

Разошлись под утро... Была вьюга. Блок провожал Павлович и Неслуховскую.

Свой синий плащ Александр Блок перекинул через плечо, и тот развевался за ним по ветру, словно темное крыло...

В 1922 году Мария Константиновна вышла замуж за Николая Тихонова, вернувшегося тогда с фронтов Гражданской войны и сразу всех поразившего своими стремительными балладами „Орда“ и „Брага“...

Таким образом, возможно, моего „Андрюшку“ держал в руках Блок, и очень может быть, что он видел Ленина.

Так заканчивается папин очерк-воспоминание «Андрюшка» о кукле из папье-маше, о встречах талантливых людей и их трудных, иногда трагических судьбах.

* * *

Много интересных встреч и с людьми и с искусством подарил мне Эрмитаж.

Вместе с античным отделом Эрмитажа студенткой ездила в археологическую экспедицию в Крым, в город Херсонес (недалеко от современного Севастополя), основанный древними греками еще в У веке до новой эры.

Экспедицией руководил старший научный сотрудник Эрмитажа Григорий Дмитриевич Белов. Начинались раскопки рано, в 6 часов утра. Во время пятиминутных перерывов севастопольские студенты, работавшие на раскопе, ныряли в море прямо со скалы. Не желая ударить в грязь лицом, я отчаянно бросалась вслед за ними в черноморские глубины.

От древнего Херсонеса (в переводе «Полуостров») дошли до нас мозаики терм — общественных бань, отдаленно напоминавших современные сауны. В них мылись, ели фрукты, пили вино, обсуждали культурные и политические новости.

Сохранился в Херсонесе амфитеатр, на сцене которого две с половиной тысячи лет назад устраивались спектакли. Иногда что-то вроде спектаклей разыгрывали мы сами, драпируясь в простыни как в античные тоги.

Раскопки шли рядом с храмом, его ослепительно белые колонны светились под лучами южного солнца. Перекрытия, крыша храма разрушились, а колонны стояли, упираясь капителями в южное небо.

Иногда в ходе раскопок мы находили старинные монетки. Это совсем не просто, потому что со временем монеты превращаются в покрытые окисями зеленоватые пухлые кругляши. В специальных лабораториях Эрмитажа их особым способом очищают, и только после этого на них проступают рельефные изображения, надписи и даты.

Больше всего мы мечтали найти клад, особенно наслушавшись рассказов о счастливой случайности, постигшей мальчишек, которые, играя в лапту, ногой попали ни куда-нибудь, а прямо в серебряный кувшин...

Часто забегали в «лапидарку» (лапидус — камень). Научный сотрудник лапидария Элла Исааковна Соломоник рассказывала, как благодаря вырезанным на камнях древним надписям приоткрываются таинственные страницы жизни Херсонеса, ныне мертвого, а когда-то процветающего города.

Вечерами мы ездили в Севастополь, на «Примбуль» — Приморский бульвар, к Графской пристани, к памятнику затопленных кораблей.

Ходили в Севастопольский музей узнать про моего прадеда Михаила Ильича Кази, который сто лет тому назад был городским головой Севастополя. Это ему мы обязаны тем, что памятники героям Севастопольской обороны сохранены, и мы можем их увидеть.

Когда садилось солнце, небо над Севастополем становилось бархатно синим, усыпанным яркими крупными звездами. Запах черноморской соленой воды, плеск волн, бронзовые памятники отважным российским флотоводцам придавали этому городу романтическую окраску и делали встречу с ним незабываемой.

«Севастопольский вальс» был нашей любимой песней...

С сотрудниками Эрмитажа много ездила по Новгороду, Пскову, Владимиру, Старой Ладогe и другим древнерусским городам. С тех пор встреча с городом как и с человеком стала для меня событием.

В Пушкинских Горах нас встречал Семен Семенович Гейченко, директор заповедника. Трудно сказать, в чем заключался его ораторский секрет, но когда он вел нас по аллеям парка — Пушкин, живой, молодой, радующийся жизни, как будто шел рядом с нами и звонко смеялся, показывая сверкающие белые зубы.

Гейченко дружил и с моим отцом и с Владиславом Глинкой, но у них шли какие-то постоянные разногласия из-за концепции музея-заповедника, трактовки самих пушкинских стихов и т. д. Это была сплошная непрекращавшаяся полемика, минуты радости от взаимного понимания и обиды от несогласия.

Семен Гейченко был ярким, незаурядным человеком, которому удалось многое сделать для сохранения «пушкинского духа» в Михайловском и Тригорском.

И эта первая встреча с Пушкинскими Горами, — когда с сотрудницами Эрмитажа мы спали в бане пушкинского времени, прямо на деревянной лавке, а в семь часов утра Гейченко уже начинал свою вдохновенную экскурсию стихами Пушкина, — осталась в памяти навсегда...

* * *

Студенткой третьего курса я начала водить экскурсии в Эрмитаже и больше всего боялась потеряться в эрмитажных залах.

В течение многих лет мне снился потом один и тот же сон: иду впереди экскурсионной группы и вдруг попадаю в зал, из которого нет выхода...

Занятия для экскурсоводов начинались, когда музей был еще закрыт для посетителей. По пустым залам спешили научные сотрудники. Седовласые смотрительницы, стоя перед мраморными изваяниями древнегреческих богов, смахивали пуховкой пыль с их постаментов.

Витавший в воздухе трепет и волнение перед открытием Эрмитажа можно сравнить, пожалуй, лишь с входом зрителей в Большой театр. Последний звонок, двери распахиваются, и живой поток заполняет собой музей.

Моим первым боевым крещением стала экскурсия для младших школьников.

Поддержать меня пришел мой брат Миша Помарнацкий, который уже закончил университет и стал взрослым бородатым геологом. В глазах же пятиклассников, выстроившихся парами вокруг древнегреческой скульптуры «Геракл», невозмутимый Миша со скрещенными на груди руками ничуть не уступал мраморному бородатому силачу.

Свою профессиональную молодость я провела среди эрмитажных стен, среди специалистов, абсолютных бессребреников, бесконечно влюбленных в музейные шедевры. Научных сотрудников, хранителей эрмитажных фондов часто называли «великими чудачками». Мне посчастливилось работать рядом и учиться у таких светил музейного дела, как А. В. Банк, А. И. Воцинина, И. С. Немилова и многих, многих других.

Любовь Владимировна Антонова — «мама Люба» — в годы войны была эвакуирована в тыл вместе с детьми эрмитажных сотрудников. Это они во время переездов и бомбежек, цепляясь ручонками за ее подол, дали ей такое имя.

Нина Александровна Лифшиц, всю жизнь занимаясь искусством итальянского возрождения, не имела возможности побывать в Италии. Лишь когда железный занавес пал, и поездки за границу стали реальной возможностью, она полетела туда. Целыми днями «бегала» по музеям и памятникам. Там же, под жгучим итальянским солнцем остановилось ее переутомленное сердце.

Низкий поклон всем моим учителям, моим наставникам, освещавшим нелегкий путь в большое искусство...

Встречались в моей экскурсоводческой практике и смешные эпизоды.

Однажды, прослушав мою экскурсию, группа курсантов затела написать отзыв. Было около 18 часов, музей уже закрывался, а курсанты, сбившись в кучку, горячо обсуждали текст отзыва. Сотрудники диспетчерской забеспокоились, что же такое могло произойти во время экскурсии.

Наконец текст был торжественно вручен заведующему экскурсионным отделом. На листке было всего две фразы: «Экскурсовод Наталия Нарышкина держится просто и непринужденно (?!). Просим объявить ей благодарность». Далее следовали 25 подписей курсантов.

После того, как я проработала в Эрмитаже уже несколько лет, экскурсанты стали спрашивать у меня «Видела ли я Петра I?», очевидно принимая меня за чудом сохранившуюся современницу первого российского императора. И настоятельно рекомендовали «доделать, наконец, руки и ноги мраморным статуям».

Как-то раз я вела школьную экскурсию, вдруг двери стали быстро закрывать: «Правительственная делегация. Просьба освободить помещения».

Мы с пятиклассниками были так увлечены, что «помещение не освободили». Когда же кто-то из фотографов, окружавших вошедшую в зал правительственную делегацию, попросил школьников повернуться от витрин и сфотографироваться, я не сообразила ничего лучше, как ответить строгим голосом: «Не отвлекайте ребят, пожалуйста. Мы работаем».

Делегация прошла, двери в зал открыли, но всем было ясно, что мне «больше не жить» — уволят.

Сразу же вызвали к заведующему экскурсионным отделом «Димдимычу». Ветеран Великой Отечественной войны, прошедший суровые испытания войны, Дмитрий Дмитриевич Тимофеев нашел понятные для меня, заядлой фанатки своего дела, слова: «Мы знаем, Наташа, что ты любишь свое дело. Но нельзя, чтобы из-за своей любви к делу ты не давала бы другим работать с полной отдачей. Плечо товарища — святое дело. Хороший бы снимок получился об Эрмитаже».

Через какое-то время он предложил мне перейти в штат экскурсионного отдела. Я очень была тронута, но не могла этого сделать. У нас болела бабушка.

Она болела долго и тяжело, но мы не услышали от нее ни одного слова жалобы, только дышала тяжело и совсем не могла ночью спать, задыхалась.

Ее страдающие глаза смотрели в темноту ночи, ища нас... Она ждала от нас помощи, спасения... А мы не знали, как помочь, утром бежали на работу, ночью — за кислородными подушками.

После экскурсий в Эрмитаже я мчалась домой, к бабушке, когда с работы возвращалась мама, — в университет на вечерние занятия.

А потом часто бывало так: выскочу из эрмитажного подъезда, бегу к бабушке и... вдруг остановлюсь... бабушки моей уже больше нет...

* * *

Закончив университет, я поехала в подмосковный поселок Северный, где жила Ната Афиногенова, мамина подруга детства, семья которой была репрессирована в 1938 году.

Каждая встреча с Наталией Сергеевной Афиногеновой больно западала в душу.

Жизнь сильно придавила и прошла по всем членам этой семьи.

Но Ната — та самая Ната, которая в 1920-е годы говорила своей подруге Машеньке Нарышкиной: «Сегодня прыгаем в море с первой ступеньки, завтра — со второй, а послезавтра — с третьей» — старалась не сдаваться.

Переехав в конце 1950-х годов из ссылки в подмосковный поселок Северный, Ната взяла с собой маму и сестру Леру, которая из-за туберкулеза колена с трудом ходила.

Ее маме, Серафиме Викторовне, после ареста мужа — Сергея Михайловича — стало казаться: чтобы выжил ее муж, умереть должна она. Ей снилось, что она ворочается в гробу и никак не может умереть, а Сергея Михайловича сейчас расстреляют.

Она повредила в уме, все куда-то бежала, бежала. Верила, что еще может ему чем-то помочь, объяснить кому-то чудовищную ошибку... несправедливость...

На работу Ната ездила на электричке, оставляя больную маму и маленькую дочку Маринку.

Маринка оказалась ненормальной...

Я помню Наталию Сергеевну Афиногенову уже не молодой, высокой и худой, близорукой и рассеянной, но ни от каких внутренних долгов чести не отступавшей.

Приезжала с работы, бежала по поселку разыскивать свою бедную, лишившуюся ума мать...

Поздно вечером приходили сослуживцы:

— Наталия Сергеевна, послезавтра проект сдавать, как вы считаете...

И она, согнувшись над бумагами, что-то чертила, стирала, писала...

В поселке Северном начинались гидротехнические работы, воздвигалось какое-то не очень эстетичное сооружение, типичное для конца 1950-х годов. Ната принимала в этом деятельное участие и очень им гордилась: «Моя труба».

— Смотри, Наташенька, — говорила она мне, — скольким людям удобства она (труба) в дома принесла.

«Труба» была частью ее жизни...

Когда в 1964 году, закончив университет, я приехала к Нате — у нее все было так же.

По-прежнему вечерами сидела над чертежами, речь шла уже о второй «ее трубе», поднимавшейся над поселком.

Теперь она начала вести дневник «состояния природы», куда каждый день записывала температуру воздуха, осадки, заморозки, оттепели, прилет птиц и т. д. Ведь она десятилетиями (Марина умерла, когда ей было 35 лет) не могла отлучиться из дому, если не считать, что каждое утро в семь часов уезжала на работу до позднего вечера, прося соседку «приглядеть» за своими.

Она читала в электричке все журналы, какие были в поселковой библиотеке, за всем следила, во всем активно душой участвовала.

Семью Афиногеновых реабилитировали, и Ната была на взлете своих духовных сил...

Вернули честное имя Сергея Михайловича, ее любимого папы. Жизнь взяли, но честь его осталась незапятнанной.

Я рассказала ей, как умирала моя бабушка, Пелагея Петровна, у которой она училась еще в Новороссийске.

Потом рассказала, что меня рекомендовали в аспирантуру, но моя университетская подруга зовет поехать вместе с ней по комсомольской путевке с лекциями по Советскому Союзу.

— А ты отсиживаешься в Эрмитаже? — возмутилась Ната. — Ты же деятель культуры!

— Сейчас такие события! «Оттепель»! Ты просто обязана участвовать в современных культурных процессах. Вот, Евтушенко и Вознесенский ездят же по всему Советскому Союзу.

Действительно, и Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский стали знаковыми фигурами эпохи «оттепели» шестидесятых годов. Когда они приезжали к нам в Ленинградский университет, то в актовом зале не оставалось свободных мест, и мы прорывались туда через какие-то чердачные помещения.

Ехать я хотела, но очень боялась. Кроме университетских аудиторий и эрмитажных залов, которые с детства были моим домом, я ничего не видела и не знала.

Мама моя, мужественная мама сказала: «Смелый — это не тот, который не боится, а тот, который умеет принимать решения и действовать так, как будто он не испытывает страха.

Этим отличается порядочный человек от труса. Порядочный человек может испытывать страх, но не должен брать его в расчет».

И я не взяла его в расчет.

Я ездила в поездах, «газиках» по расхлябанным нашим дорогам, летала на самолетах и вертолетах.

Полюбила аэродромы с их рокошущим гулом, вокзалы с их толчеей, спешкой, где люди устремлялись к чему-то невидимому, но очень важному для них, ради чего они и проделывали все эти замысловатые виражи.

Снова и снова я

...опять стою

На краешке земли...

Я входила в залы, в которых до меня выступали Евтушенко и Вознесенский...

Это был трудный для меня путь преодолений.

Но в бою не говорят о потерях. А удача награда за смелость.

Читала лекции в Тюмени.

Потом летела на Ан-2 в Ямало-Ненецкий округ, в город Салехард. Лежа на полу вертолета, видела в щели ржавые пятна тундры с карликовыми березками.

Вот под крыльями вертолета «зеленое море тайги» и маленькое местечко Березово, где два века назад отбывал свою ссылку «полудержавный властелин», первый губернатор Петербурга Александр Данилович Меншиков.

В лекторскую группу, направлявшуюся в Салехард, входила падчерица известного поэта Александра Галича — Галя Шекротт, студентка МГУ, искусствовед.

Прилетела я в Салехард в летнем пальто. А там снег кругом, в гостинице туалет на улице, точно ледяная гора.

Снабдили меня казенными валенками и полушубком. Запомнились мне черные деревянные дома, черные деревянные панели узких улиц, и снег в сумерках — сиренево-голубой, глубокий.

Приближалась полярная ночь — на небе шевелились тревожные сполохи...

Лекции читала об Эрмитаже и музеях Ленинграда.

Вот тогда-то во время поездок по стране и родилась у меня мысль написать книгу о музеях города на Неве.

В 2005 году у меня вышла эта книга: «Жизнь моя — музеи. Новеллы о петербургских музеях».

С лекциями по культуре и искусству выступала на Салехардском рыбоконсервном заводе.

Со школьниками организовала выставку рисунков, провела конкурс.

Теперь уже большие эти талантливые школьники, сами, наверное, имеют детишек школьников, а то и внуков.

С тех пор с большим вниманием смотрю по телевидению, как выглядит этот город. Он очень изменился, теперь много каменных красивых домов и широких площадей... Более 40 лет прошло.

Ездил я и к оленеводам.

Меня слушали внимательно, покачивая головами. После моего рассказа, как и полагается гостеприимным хозяевам, стали угощать своим фирменным блюдом — сырой замороженной рыбой, от жира переливавшейся всеми цветами радуги. К ней подали большую миску с горячей оленьей кровью.

До сих пор помню эту трапезу как обряд посвящения в дружбу и взаимопонимание.

Летала с лекциями в Донбасс, была в Донецке, Горловке, Макеевке. Лето, жара, мне, невскому человеку, непривычная, пыль с терриконов.

Читала шахтерам лекции об Эрмитаже. Меня попросили целый цикл прочитать. Когда он закончился, шахтеры сказали: «Вы познакомили нас со своим трудом (так уважительно охарактеризовали мои искусствоведческие знания), а мы Вас хотим познакомить со своим. Приглашаем к нам в шахту. Не бойтесь?»

Когда я на другой день в назначенное время пришла к шахте, то почувствовала какую-то заминку: нет женского костюма для труд-

ного горняцкого дела. Теперь все женщины ходят в брюках, а тогда это оказалось проблемной ситуацией.

Надела шахтерскую одежду с лампочкой на лбу. Вместе со всеми спустилась в люльке на глубину. Дошла до забоя.

Когда мы подходили к штрекам, мой сопровождающий наклонился и кричал: «Ребята! Наша лектор пришла!» Мое приветствие разносилось глухо и долго.

С тех пор и в трудные времена перестройки и теперь, что бы ни происходило на шахтах, сердцем я всегда там, с людьми, которые глубоко под землей один на один с ее недрами, пренебрегая страхом, покоряют их.

Каждый раз после такой очередной командировки я возвращалась в Ленинград, на наше с мамой «седьмое небо», и спрашивала: «Мамочка, можно я еще поеду»? Чего это маме стоило, я только сейчас начинаю догадываться.

В селе Лосево Воронежской области жила четыре месяца.

Привезла из Москвы выставку картин молодых московских художников. Теперь это все известные мастера Игорь Попов, Гурий Захаров, Дмитрий Жилинский. Совершенно разные по творческим принципам художники. Но что-то общее есть, может быть, само время нашей молодости, которая пришлась на «оттепель», время надежд.

Все как-будто торопились, спешили высказаться, создать, показать, объяснить.

— Вы скажите в Лосево, когда будете давать комментарии, что здесь у художника задача была такая... а здесь не получилось... Вы не бойтесь, — напутствовали меня художники, — теперь можно говорить...

Ускоренный темп жизни, открытое творчество — целая эпоха в одно десятилетие. Ветер перемен...

Когда я приехала в Лосево, на площади рядом с сельпо висела афиша — наискось по листу ватмана красной тушью было написано: «Встреча с Натальей Нарышкиной».

У меня не было там места службы. Не было бригады. В Лосево я была одна на всем культурном фронте.

Каждый день я водила школьные экскурсии по «Выставке молодых художников».

Два раза в неделю по местному радио делала передачи «Беседы о русской культуре».

В сельской библиотеке и в книжном магазине устраивала литературно-музыкальные вечера.

Читала лекции в колхозном клубе, где меня называли «лектор из Арбитража» (имелось в виду «из Эрмитажа»).

В избу, где я жила с двумя добрыми женщинами из этого колхоза, входили без стука...

Ко мне приходили и меня звали на срочную помощь, если телёнка на ферме придавило, если в клубе самодеятельного артиста не хватало.

Если в больницу отвозили учителя, прибежали тоже ко мне.

Но и на все мои «культурные мероприятия» откликались.

Это было наше общее дело, хотя и очень нелегкое.

Я стучалась в двери незнакомых домов и приглашала на открываемые мною выставки в клубе. Сначала ответ был из всех дверей одинаков:

— Чего?! Какие такие выставки? Времени нет по выставкам ходить.

Со временем ответ трансформировался:

— Ну, если уж так надо, придем в клуб, посмотрим картины, чего же не сходить, раз надо...

Потом, проникнув в мои искусствоведческие заботы, успокаивали как могли:

— Не бойтесь, картины никто не украдет. Ну, разве что ради рамы. Так ведь Вас тут уж все знают, не-е, никто Вас не подведет...

Я останавливала какие-то ехавшие в райцентр машины, чтобы добиться там то аудитории для школьной выставки, то эпидиаскопа для клубной лекции, то выезда соседних сел ко мне на экскурсии.

Недавно я смотрела телепередачу про народную артистку Нонну Мордюкову и ее роль председателя колхоза, и мне показалось, что это про меня...

В журнале «Огонек» за 1965 год была статья про село Лосево Воронежской области. В ней говорилось, что люди в этом селе стали тянуться к культуре; создают свои самодеятельные творческие кружки, объединения — и «в этом заслуга серьезной девушки Натальи из Эрмитажа...»

Я этим гордилась...

Когда же вернулась в Ленинград, на меня очень рассердился мой отец и не хотел меня понимать: «Если ты будешь болтаться

по клубам, из тебя не выйдет специалиста. Надо ходить в библиотеки, в архивы». Год после этого не разговаривал со мной...

Но в этих поездках приобреталось такое, что нельзя получить ни в библиотеках, ни в архивах. Я жила на одном дыхании с людьми самых разных уголков нашей огромной страны.

Поняла жизнь и интересы людей, которые приезжали к нам в музеи на экскурсии, и дети которых сидят теперь передо мной на студенческих скамьях.

Сейчас, вспоминая своих давних друзей на разных широтах нашей страны, я спрашиваю себя: кто же из нас был учителем, а кто учеником?

А может быть так, как гласит древняя мудрость: «Счастлив тот, кто принимает. Вдвойне счастлив тот, кто дает».

Но по настоящему счастлив лишь тот, кто умеет и «принимать»: впитывать великую духовную культуру и «давать»: делиться своими знаниями и любовью к ней.